**Материализм и атеизм Белинского**

И.Вороницын

В марте 1841 года, ознакомившись с выдержками из напечатанных в «Галльских летописях» статей левых гегельянцев, Белинский говорит, что он давно уже подозревал, что «философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к (непечатное выражение) не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними». Этими словами он устанавливает тот факт, что преодоление абсолютного и консервативного гегельянства и переход на диалектическую точку зрения происходили у него постепенно, еще тогда, когда он пел дифирамбы самодержавию, православию и крепостному рабству. Этот переходный период был довольно продолжительным и весьма тягостным, так как переживал его Белинский в полном духовном одиночестве и совершенно самостоятельно. Никакой друг, хотя бы тот же Мишель Бакунин, не явился перед ним с новой книгой откровения в руках и никакая новая теория не облегчила тяжелых мук рождения его нового мировоззрения. Тем более ценны для нас достижения ума Белинского и тем больше оснований имеем мы восхищаться им.

Новая позиция, которую прочно занимает Белинский с самого начала 40-х гг., определяется отрицательным отношением к российской действительности во имя конкретного идеала. Он снова загорается героическими порывами, но этот свой героизм теперь он не назвал бы абстрактным, как не назвал бы свою новую вражду к действительности дикой.

«Действительность — это палач!» — говорит он и выражает этими словами не только свое общее и теоретическое отношение, но и свое личное ощущение. В вечных тисках материальной нужды, терзаемый без конца тем бесправным режимом, который на нем, как на литераторе, отражался особенно сильно, он революционизируется с каждым годом, с каждым месяцем все больше. Из прекраснодушной помещичьей и купеческой полуазиатской Москвы он в 1839 году переселился в Петербург, бюрократический, чиновный и полуевропейский. Здесь практика русской действительности резким контрастом выступила против идеалистической теории. Хотя и в Москве сомнения в истинности его построений довольно часто закрадывались к нему в душу, но там для них было слишком мало данных. В Питере факты толпой накинулись на него. «Петербург был для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушие», — пишет он вскоре по переезде одному из своих друзей. «Досада, злость, желчь, апатия, бешенство» — преобладают в нем. «В Питер бы вас, дураков, — там бы вы узнали, что такое российская действительность», — со злобою говорит он, обращаясь к оставшимся в Москве друзьям. И в разговоре с Герценом, возмущавшимся его статьей о Бородинской годовщине, он признает это влияние петербурских условий: «Три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы». Герцен говорит даже, что уже через месяц по приезде в Петербург, Белинский заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоотса.

Вполне естественно, что при подобном настроении он рвет и мечет во всех случаях, когда сталкивается с тем самым подчинением «гнусной действительности», которые еще так недавно сам освящал. Вот сообщаемый тем же Герценом случай из его жизни, относящийся к этому же времени.

«Раз приходит он обедать к одному литератору на Страстной неделе; подают постные блюда. — Давно ли — спрашивает он — вы сделались так богомольны? — Мы едим — отвечает литератор — постное просто-напросто для людей» — Для людей? — спросил Белинский и побледнел — для людей? повторил он и бросил свое место. — Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами. Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей!».

Со свойственным ему неистовством он теперь кается: «Боже мой, — пишет он, — сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всей искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения!»… — Он перечислет свои грехи: выходка против возвышенного патриотизма Мицкевича, осуждение «Горе от ума» Грибоедова, восхваление до-петровского китайско-византийского монархизма, проклятия французскому народу, льющему кровь за священные права человечества… «Проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне… — продолжает он. — А это насильственное примирение с гнусной расейскою действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чинолюбия, крестолюбия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности» (в смысле безидеальности), «разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдности и наглой глупости, посредственности, бездарности, — где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое, осуждено на угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мысли истреблена… где Пушкин жил в нищенстве и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всею литературою помощию доносов и живут припеваючи… Нет, да отсохнет язык, который заикнется оправдывать все это, — и если мой отсохнет — жаловаться не буду. Что есть, то разумно; да и палач ведь есть же, и существование его разумно и действительно, но он тем не менее гнусен и отвратителен. Нет, отныне — для меня либерал и человек — одно и то же; абсолютист и кнутобой — одно и то же».

Слово «либерал» Белинский понимает не в том ограниченном смысле, в каком оно принято теперь. Либерал для него всякий человек, восстающий против политического угнетения и социального рабства. Либералом он считает себя самого, и стоит послушать каким революционным языком говорит он. «Я весь в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести и мимо их мало замечаю какое бы то ни было величие… Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только в обществе, основанном на правде и доблести». Он понял свободолюбие римлян, понял французскую революцию, «понял и кровавую любовь Марата к свободе и его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством, хоть коляскою с гербом». «Я все более и более — гражданин вселенной! — восклицает он… — Я начинаю любить человечество (по) маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечем истребил бы другую». Он теперь фанатически ненавидит. Его политический идеал — республика. «Гегель мечтал о конституционной монархии, как об идеале государства, — говорит он, — какое узенькое понятие!» Он восхищается Руссо. Путь к обновлению мира он видит только один — беспощадная революция. «Тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечем слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».

«Царством божиим на земле» очень часто обозначили идею социализма. И действительно, идея социализма близка и дорога Белинскому, «Я теперь в новой крайности, — пишет он в сентябре 1841 года, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она — вопрос и решение вопроса. Она для меня поглотила и историю, и религию, и философию». Его сердце «обливается кровью и судорожно сжимается», когда он видит вокруг себя острые проявления общественного неравенства. Толпа валяется в грязи, а он не может помочь этим людям — его братьям по человечеству и врагам и чужим по их невежеству! Перед ним тот самый вопрос, который так часто вставал перед рускими народолюбцами: «имеет ли право про этих условиях человек забываться в искусстве, в знании?! Правда, он еще не решает окончательно.

Белинский — социалист. Но он социалист по настроению, а не по теории. Социалистический идеал его весьма расплывчат, а путь к осуществлению этого ему неясен. Он мечтает именно о царстве божием»: «не будет богатых, не будет бедных, не будет царей и подданных, но будет братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла; христос даст свою власть отцу, а Отец-Разум снова воцарился, но уже на новом небе и над новою землей». Это не должно быть возвратом к какой-нибудь первобытной непосредственности. Он хочет «не прежнего безсознательного животного золотого века, но приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло».

Социалистический идеал возник в душе Белинского, как результат отрицательной оценки им современной социальной действительности: он выстрадан им, а не получен в готовом виде извне. Оттого социальные чаяния его свободны от всякого прекраснодушия, так часто неприятно поражающего нас у русских народолюбцев. Белинский любит народ, но он его не идеализирует, и в то же время он не склонен видеть в народе чего-нибудь отвлеченного. Напротив того, от ненавидит темноту народа, его грязь физическую и нравственную, его дикость, понимая, однако, что все эти черты возникли в результате развития и исчезнут, когда изменятся поддерживающие их общественные условия.

Объективные условия русской жизни, понятно, не предрасполагали передовых русских людей к особенно глубокому проникновению социалистическими идеями. Перед ними раньше всего стояли просветительные задачи, коренное же переустройство общества рисовались в огромном отдалении. Со своим чутьем действительности Белинский прекрасно усвоил это и оттого сравнительно мало занимался вопросом о приложении своих социалистических взглядов к практической деятельности. Но когда он обращался к Западу, где как могло тогда казаться, социализм был близок, он обнаруживал глубокое для своего времени понимание его. Он тогда даже покидает свое чисто просветительское убеждение, что «всегда и все делается через личности» и возлагает надежду на рост самосознания трудящихся. В рецензии на русский перевод романа Сю «Парижские тайны», указав на всю иллюзорность буржуазного равенства, он говорит: «Но искры добра еще не погасли во Франции, — они только под пеплом и ждут благоприятного ветра, который превратил бы их в яркое и чистое пламя. Народ (под этим обозначением в данном случае имется в виду пролетариат) — дитя, но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституционную мишуру в ее истинном виде. В народе уже быстро развивается образование, он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отрекаясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни, свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества». Рядом с этим ростом самосознания в пролетариате Белинский отмечает с глубоким сочувствием и роль его друзей, тогдашних социалистов. Они возвышают свой голос «за бедный обманутый народ», но это только до той поры, пока народ не встанет на собственные ноги. Разве это не глубокое и не подлинно социалистическое понимание?

Мы не можем, конечно, останавливаться здесь более подробно на относящихся к этой области взглядах Белинского. Достаточно сказать, что, поскольку он был социалистом, его социализм носил утопический характер. Иначе и быть не могло. Но, как это прекрасно показал в своих статьях о Белинском Г. В. Плеханов, «его гениальная мысль поставила перед ним такие теоретические задачи, правильное разрешение которых прямым путем вело к научному социализму». Особенно верно это в отношении последних лет его жизни. В 1848 г., например, он с поразительной дальновидностью связывает «внутренний процесс гражданского развития» в России с возникновением и ростом класса буржуазии, т. е. он ясно видит, что «блаженная страна» лежит за далью капитализма. Вспомним, как много трудов затратил марксизм в России, выколачивая из голов утопистов-народников веру в возможность достигнуть социализма, минуя капиталистическую ступень развития {Влияние идей Маркса на Белинского (если вообще такое влияние было) можно объяснить дружеской связью Белинского с Анненковым, который был знаком с Марксом и даже выдавал себя за его сторонника. См. Д. Рязанов «Карл Маркс и русские люди 40-х г.г.», 2-е изд., 1920; ср. рассказ самого Анненкова в «Воспоминаниях и критических очерках», т. III. — Между прочим, Иванов-Разумник, в качестве присяжного апологета народничества, находит возможным утверждать, что разрыв Белинского с утопическим социализмом, наметившийся в самом конце его жизни, знаменовал его «зарождающееся народничество» («Книга о Белинском» изд. «Мысль», 1923, стр. 91).}.

В своих философско-религиозных взглядах Белинский идет по тому же пути, какой он проделал в области вопросов общественных и политических. Его эволюция здесь находится в прямой связи с преодолением им социального и политического консерватизма.

Разделавшись с правым гегельянством, Белинский становится на точку зрения диалектики. Но пока что он порывает только с абсолютным идеализмом. Философия продолжает для него оставаться «наукою развития и мышления довременных и бесплотных идей», этих «таинственных и первосущих матерей всего сущего». Только выводы этой «науки» перестают быть непреложными и вечными: они подчинены закону развития, закону отрицания. Другими словами, Белинский признает, что все в мире подчинено одному закону развития идеи. «Ничто не является вдруг, — формулирует он его, — ничто не рождается готовым, но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по моментам, двигается диалектически, из низшей ступени переходя на высшую». Мы знаем, что левое крыло гегельянства, опираясь на эту же самую диалектику, пришло к отрицанию бога и религии.

Так же приближается к атеизму и Белинский, только вследствие чрезвычайных внешних препятствий, не давших ему возможности философствовать открыто и с полной свободой, для нас не сохранилось все тех вех, которыми он отметил этот путь. Впрочем, помимо исходного пункта и конечного результата, мы можем проследить некоторые частные достижения его на этом пути.

Еще летом в 1839 году, делясь с другом своим В. П. Боткиным «истинными своими страданиями, истинными ранами своей души», он стоит на почве христианской религии, толкуемой по старо-гегельянски, как абсолютная религия. Цель этой религии есть — «возведение личности до общего, возвышение субъекта до субстанции». Но уже в ноябре того же года «абсолютно религиозная» ясность души нарушена, и в бунте против «философского колпака» Гегеля, он пытается сбросить с себя также и религиозные вериги. «Для меня нет выхода в jenseits (в потустороннем), в мистицизме и во всем том, что составляет выход для полубогатых натур и полупавших душ», говорит он. Утрата философски-религиозной ясности, сопровождавшей примирение Белинского с действительностью, строго соответствует тому моменту, когда в душе его преобладали «злость, желчь, бешенство» и т. д.

Однако, начав борьбу с собственным религиозным мировоззрением, Белинский скоро спускает тон. Религия вовсе не вздор, говорит он в следующих письмах к тому же Боткину. Пиетизм, т. е. поповская вера, лучше, чем пантеистические построения о религии. «Для меня евангелие — абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень. Временем тепло верится… Да, надо чаще читать евангелие — только от него и можно ожидать полного утешения». Заметим здесь подчеркнутое нами слово «временем». Теплая и утешительная вера далеко не постоянная гостья его мятущейся души. Он и верит в бессмертие, но в то же время и не верит. И порой, когда вера далеко отлетает от него, он начинает кощунственно насмехаться. Так, однажды, расфилософствовавшись на ту тему, что судьба избрала его чистильным орудием вроде помела или лопаты с тем, чтобы, не дав ему счастья, выбросить, он добавляет: «Так и я: в жизни ни (непечатное выражение), помучусь, поколочусь как собака, а там и издохну, т. е. погружусь в мировую субстанцию; и в ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди». Конечно, насмешка эта далека от безцельного озорства. Это поистине «насмешка горькая обманутого сына»: мировая субстанция ведь тот же «отец наш небесный» евангелия.

Эти колебания от попыток верить к неверию продолжаются в течение 1840 года и небольшой части 1841 г. Порой кажется, что вот на этот раз дело кончено, и Белинский отбросит выпитую до дна чашу. Но его жаждущие уста снова и снова тянутся к ней в надежде обрести хоть каплю влаги. Он сам говорил потом: «Я давно уже отрешился от романтизма, мистицизма и всех «измов», но это было только отрицание, и что новое не заменяло разрушенного старого, а я не могу жить без верований, жарких и фантастических, как рыба не может жить без воды, дерево расти без дождя. Вот причина, почему вы видели меня прошлого года таким неопределенным. (К М. Н. Бакунину, 7 ноября 1842 г.). Отрешившись от верований, он невольно, по уже без всякого убеждения, возвращается к ним всякий раз, когда жизнь каким-нибудь новым ударом возбуждает в нем потребность в религиозном утешении.

Умер Станкевич. Хотя Белинский и говорит, что принял это известие довольно равнодушно, но на самом деле оно глубоко потрясло его. «Каждому из нас казалось невозможным, — пишет он под свежим впечатлением утраты (12 авг. 1840 г.), — чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить ее в ничтожество. В ничтожество, Боткин! После нее ничего не осталось, кроме костей и мяса, в которых теперь кишат черви. Он живет, скажешь ты, в памяти друзей, в сердцах, в которых он раздувал и поддерживал искры божественной любви. Так, но долго ли проживут эти друзья, долго ли пробьются эти сердца? Увы! ни вера, ни знание, ни жизнь, ни талант, ни гений не бессмертны. Бессмертна одна смерть…» Приведя несколько строк из державинского «На смерть кн. Мещерского», он останавливается на словах:

Где ж он? — он там! — Где там? — Не знаем! И продолжает: «Видишь ли, какая разница между прошлым и настоящим веком? Тогда еще употребляли слова там и туда, обозначая ими какую-то terram incognitam (неизвестную область), которой существованию сами не верили; теперь и не верят никакому там и туда, как бессмыслице, отвергаемой разумом, и не употребляют даже в шутку этих пустых слов». И Белинский пускается в дальнейшие рассуждения по поводу «вечного ничтожества в лоне материи».

Казалось бы, дальше в отрицании бессмертия идти некуда. Все сомнения разрешены, вопрос признан бессмысленным, недостойным мыслящего человека. Не тут то было. И месяца не прошло, как Белинский готов отвечать по-державински. Личное бессмертие уже — «альфа и омега истины» и в его решении — наше искупление». Я плюю на философию, — говорит он, — которая потому только с презрением прошла мимо этого вопроса, что не в силах была решить его. Гегель не благоволил ко всему фантастическому, как прямо противоположному определенно-действительному. Катков говорит, что это — ограниченность. Я с ним согласен».

Белинский, вопреки «ограниченности» старика Гегеля, благоволит фантастическому и уже не согласен похерить вопрос о бессмертии. Друг его Боткин верит в свое бессмертие. Белинский спрашивает своего верующего друга: что же оно такое, это бессмертие? «Если оно и то, и другое, и все, что угодно — и стакан с квасом, и яблоко, и лошадь, то я поздравляю тебя с твоею верою, но не хочу ее себе. У меня у самого есть поползновения верить то тому, то другому, но нет силы верить, а хочется знать достоверно… Нет, я так не отстану от этого Молоха, которого философия назвала Общим, и буду спрашивать у него, куда дел ты его (умершего друга) и что с ним стало?»

Переписка между друзьями по этому вопросу продолжается, и из нее мы видим, что «ужасное противоречие» между достоинством человеческой личности и её горькой участью продолжает волновать Белинского. В октябре 1840 году ему «все так же хочется верить и все так же не верится». Подлинное неверие таких колебаний не знает.

В начале 1841 года длительный и мучительный процесс переоценки ценностей более или менее завершен уже. Наряду с решительным отрицанием конкретной российской действительности, в Белинском растет стремление путем философской критики обосновать перемену своих убеждений. В это именно время он вполне самостоятельно занимает позицию левого гегельянства. Поэтому, когда Боткин сообщил ему выдержки из напечатанной в «Галльских летописях» статьи левого гегельянца Эхтермейера, нападавшего на Гегеля за непоследовательность и измену собственным же принципам, он увидел в этом подтверждение лично добытых им результатов. Присланный отрывок не только порадовал его, но «даже как будто воскресил и укрепил». В «энергичной стукушке по философскому колпаку Гегеля» он увидел доказательство того, что и немцам предстоит возможность сделаться людьми, т.-е. начать борьбу с их собственной действительностью.

На что же, в первую очередь обращается стремление Белинского к критике? На «субстанциальные элементы общества» — на освященные и скованные религией устои современной жизни. Разговор между друзьями — все в тех же письмах — заходит о браке. Неистовая натура Белинского взрывается, и неупотребительные в печати, но весьма обычные в дружеском обмене мыслями слова так и сыплются с его языка. Церковный брак — лицемерие. Им, правда, «держится государство, но в лице толпы презренной, черни подлой». Церковь ровно ничего не освящает. Одним словом, — к дьяволу все субстанциальные силы, все предания, все обряды, формы! Да здравствует разум и отрицание. (1 марта 1841 г.). «Брак — установление антропофагов, людоедов, патагонов и готтентотов, оправданное религией и гегелевскою философиею». Белинский, который еще так недавно думал о французах «точь в точь, как думают о них наши богомольные старухи», теперь боготворит безбожного насмешника Беранже. «Это — французский Шиллер, — говорит он, — это — бич предания. Это — пророк свободы гражданской и свободы мысли. Его (непечатное выражение) стихотворения на религиозные предметы — прелесть». — В другом случае, опять возвращаясь к Беранже, он называет его «великим мировым поэтом, христианнейшим поэтом, любимейшим из учеников христа». Здесь кстати заметить, что Белинский рассматривал христианство первоначальное совершенно так же, как это делали многие безбожники и революционеры до него и как после него не раз будут толковать «чистое» христианство многие революционеры и даже, с позволения сказать, социалисты. По словам Достоевского, Белинский выражал убеждение, что если бы христос появился в их время, то он был бы социалистом, борцом за социальное преобразование общества. Любопытно, что в одном из своих позднейших доносов на «Общественные Записки» Булгарин извещал «Третье Отделение» (тогдашнюю охранку), что «Белинский, у которого собиралось юношество, явно называл себя русским Иисусом христом»; Булгарин добавлял, что свидетелей сему можно представить. Ниже, говоря о самом ярком выражении антирелигиозности Белинского, мы опять встретимся с этим его рационалистическим толкованием «учения христа».

В том же письме, в котором он провозглашает своим девизом «социальность или смерть», он говорит: «Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих, в качестве верования, волю человека! Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого: Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин») и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется — непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века — великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков, но мне приятнее XVIII век — эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII—рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности».

Читатель может выразить недоумение: при чем же «бог» в этой антирелигиозной тираде? Ведь, Белинский только что сказал, что он — враг всех «субстанциальных начал», следовательно, и бога в том числе. Это противоречие, надо думать, чисто словесное: под богом, вероятно, разумеется тот самый «отец-разум», — в духе разума-божества французских революционеров, — который в чаемом Белинским социалистическом строе воцарится «в новом небе и над новой землей».

Что касается антирелигиозности Белинского, то она в этот период носит совершенно тот же характер, каким отличались антирелигиозность Вольтера и энциклопедистов первого периода «философской битвы». Отрицая авторитеты, он охотно прибегает к сарказму, к насмешке, над простодушием верующих. Маленький пример, — конечно, из жизни, ибо в литературе Белинский был вынужден держать на цепочке свой неистовый язык, — иллюстрирует эти слова.

Среди друзей Боткина был некто А. Я. Кульчицкий, начинающий литератор, большой поклонник таланта Белинского. Кульчицкий жил в Харькове и, сгорая желанием познакомиться с почитаемым писателем, вступил с ним в переписку и стал даже печататься в журнале Белинского. Наконец, личное знакомство состоялось. Кульчицкий пришелся по душе Белинскому: прекрасный человек, правда — недалек и не глубок, но человечен. Одна беда — он верит в бога. И при первой же встрече Белинский обрушивает на растерявшегося юношу потоки своего обличительного красноречия. «Не обошлось без грубостей, — пишет он Боткину, — но вольно же ему обретаться в ненавистной непосредственности!» Он бранит Боткина за то, что тот оставил Кульчицкого «в теплой вере в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, бздит под себя, окруженный сонмами серафимов и херувимов, и свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами» {В «Переписке» это место было ослаблено цензурными многоточиями. Цитируем по «Книге о Белинском» Иванова-Разумника.}. «Мне было отрадно, — прибавляет Белинский, — в глазах Кульчицкого плевать ему (христианскому богу) в его гнусную бороду».

«Разум и сознание, — говорит Белинский, — вот в чем достоинство и блаженство человека; для меня видеть человека в позорном счастии непосредственности — все равно, что дьяволу видеть молящуюся невинность: без раскаяния разрушаю я, где и как только могу, непосредственность. И мне мало нужды, если этот человек должен погибнуть в чуждой ему сфере рефлексии; пусть погибает»… Этот антирелигиозный фанатизм, это презрение к религиозным верованиям — «плевать в гнусную бороду!» — весьма характерны для неистового Виссариона.

Можно положительно утверждать, что с этого времени — с осени 1841 года — Белинский уже не отклоняется от атеизма. Правда, в его письмах слово «бог» встречается еще частенько. Но оно употребляется обычно не в теологическом смысле. Так, узнав о том, что Бакунин, с которым он перед тем разошелся, примкнул к левым гегельянцам и близок с Арнольдом Руге (Белинский не знал в то время, что Бакунин даже сотрудничает в «Немецких летописях»), он пишет: «мы, я и Мишель, искали бога, но разным путем — и сошлись в одном храме». «Что человек без бога — говорит он в другом случае, — труп холодный». В таком же нерелигиозном смысле употребляется им иногда и слово «религия». Но в то же время нельзя обойти молчанием того, что наш атеист и богохульник готов лицемерно призвать на помощь «мужичка с бородкой», когда доводы безбожного разума не достигают своей цели. В его переписке с М. В. Орловой — его невестой, верующей и весьма преданной освященным церковью обычаям, это житейское лицемерие встречается на каждом шагу. Мы не говорим уже о том, что он женился церковным браком: в тогдашней России гражданский брак был вещью почти неслыханной и преследовался светскими и духовными властями. Теоретически Белинский мог метать стрелы своего сарказма на немецких свободомыслящих, обвиняя их в «подлом кастратстве» за то, что они «противоречат себе, подвергаясь крещению и браку церковному». Практически, конечно, ему приходилось идти на сделки с совестью как в этом вопросе, так и в ряде других.

Возвратимся к переписке Белинского с Боткиным и поставим теперь вопрос, какую роль в эволюции философски-религиозных взглядов нашего критика играл этот его друг.

В. П. Боткин (1810—1869) — человек во многих отношениях незаурядный. Он происходил из богатого купеческого семейства, получил первоначальное образование в частном пансионе, откуда вынес лишь знание иностранных языков. Одним из образованнейших русских людей он сделался, благодаря собственной энергии и вопреки самым неблагоприятным внешним обстоятельствам. Не дав ему окончить ученье, отец определил его приказчиком в чайный «амбар» и заставил целые дни просиживать за прилавком. В свободные минуты, урывками Боткин пополняет свое образование. В кружке Станкевича он выделялся своей эрудицией и особенно глубоким пониманием эстетики. В нем преобладал интерес к искусству, но и в области философии и социальных наук он далеко не был профаном. Путешествуя за-границей в 1835 году, он увлекался сенсимонизмом. Впоследствии он высказывал мнения о роли экономических интересов в общественной жизни, обнаруживающие замечательное для того времени понимание. В конце жизни, однако, он изменил радикализму своей молодости.

В описываемый нами период жизни Белинского Боткин с серьезным интересом занимается немецкой философией и особенно сочувственное внимание уделяет младо-гегельянскому движению. Хотя он окончательно свергнул с себя «татарское иго мистических и романтических убеждений» позже Белинского, но переживавшийся последним кризис встречает с его стороны сочувствие и одобрение.

Почти каждая новая мысль, каждое достижение Белинского получают из сокровищницы его знаний подтверждение, иногда комментарий. Он переводит для него отрывки из сочинений левых гегельянцев, знакомит его с последними новинками «немецкого печенья».

Еще в марте 1842 года Боткин пишет в ответ на мысли, высказанные Белинским в целом ряде его писем, о происходящем в Европе сдвиге: «Во Франции совершилось отрицание средних веков в сфере общественности; в Байроне явилось оно в поэзии, а теперь является в сфере религии в лице Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра. Человечество сбрасывает о себя одежду, которую носило слишком тысячу лет, и облекается в новую… Дух нового времени вступил в решительную борьбу с догмами и организмом средних веков. И внимательное созерцание современного положения Европы, действительно, представляет гниение и распадение всего старого порядка вещей. Новые люди с новыми идеями о браке, религии, государстве — фундаментальных основах человеческого общества, — прибывают с каждым днем: новый дух, как крот, невидимо бегает под землей и копает ее — чудный рудокоп». В том же письме весьма подробно излагается взгляд на христианство, заимствованный отчасти у Фейербаха, но в значительной степени сдобренный идеалистической отсебятиной самого пишущего.

Через Боткина Белинский знакомится с «Немецко-французскими летописями», которые Руге совместно с Марксом стал издавать в Париже после запрещения в 1843 году «Немецких летописей». Боткин же переводит для него отрывки из «Сущности христианства» Фейербаха.

О том, какое впечатление произвели «Немецко-французские летописи» на Белинского имеется его собственное свидетельство. В письме к А. И. Герцену 26 января 1845 года он пишет:

«Кетчер писал тебе о Парижском Ярбюхере {«Jahrbucher» — летописи.}, и что я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел, — и все тут. Истину я взял себе, — и в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи, кнут и люблю теперь эти слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я по прежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А черта ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал!».

Конечно, Белинский не переродился: к пониманию той роли, какую бог и религия играют в поддержании тьмы и мрака и в распространении цепей и кнута, он был давно подготовлен всем ходом своего развития. В лучшем случае эта истина была подчеркнута прочитанным журналом в его сознании и воплотилась в стремление «популяризировать и обнародовать». Но на пути к осуществлению этого стремления стояли непреодолимые препятствия. Оттого, «истина», вызвавшая сначала радость и бодрость, утратила краски и снова нашла себе место среди других таких же бесплодных истин. Но, несомненно, теоретическое достижение здесь было и послужило ступенькой к дальнейшему продвижению.

Когда познакомился Белинский с «Сущностью христианства», прямых известий не имеется. Из рассказа П. В. Анненкова видно, что впечатление, произведенное этой книгой на наших «западников» по силе своей равнялось приблизительно тому, какое, по словам Энгельса, она произвела на младо-гегельянцев на родине мыслителя. Она чрезвычайно быстро «упраздняла остатки всех прежних, предшествовавших ей созерцаний». Когда Белинский, говорит Анненков, прочел переведенные для него главы и наиболее замечательные места из книги Фейербаха, он «был поражен, и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался». Критика Фейербаха, мол «опрокидывала его старые мистические и философские идолы» {«Замечательное десятилетие» в «Воспомин. и критич. очерках», т. III, стр. 131 (примеч.).}. Это сказано, разумеется, черезчур сильно. Во-первых, мистические идолы были более или менее благополучно повергнуты им без всякой посторонней помощи. А во-вторых, к материализму Фейербаха он был вполне подготовлен предварительным знакомством с тем же Фейербахом при посредстве писем Боткина. Впрочем, еще большой вопрос, стал ли он фейербахианцем в настоящем смысле слова.

Дело в том, что к материализму Белинский пришел только в самые последние годы своей жизни. В эти годы его переписка не так богата, как в конце 30-х и начале 40-х гг., и вопросы мировоззрения затрагиваются в ней сравнительно редко. Его журнальные статьи посвящены преимущественно вопросам литературы и в них он лишь случайно и вскользь касается философии. Поэтому, обладая достаточным материалом, чтобы установить, что в основе взглядов Белинского в конце его жизни лежала материалистическая теория, мы можем лишь более или менее гадательно говорить о том, какая именно материалистическая система это была, т.-е. как решались конкретно в ней проблемы, стоящие тогда перед материалистической философией.

Отдельные положения материализма разбросаны в нескольких местах сочинений Белинского. Приведем вслед за Г. В. Плехановым несколько кратких выдержек. В ненапечатанной статье «Общее значение слова «литература», Белинский говорит, что мировоззрение всякого данного народа определяется его субстанцией, т.-е. его натурой, темпераментом, характером. Но почему у разных народов бывают разные субстанции, этого объяснить невозможно. И тут же он вносит поправку. «Правда, — говорит он, — на образование субстанции народа имеют большее или меньшее влияние географические, климатические и исторические обстоятельства; но тем не менее очевидно, что первая и главная причина субстанции всякого народа, как и всякого человека, есть — физиологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно-творящей природы». В идеалистический период своего развития Белинский, конечно, привлек бы для объяснения «субстанции» народа не природу, воздействующую на физиологию, а абсолютную идею.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он преподносит русской читающей публике чисто материалистическое определение психических явлений. «Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — говорит он. — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении перед этой массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются через позвоночный хребет нити нервов, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития». И Белинский вполне одобряет «современную науку». Обращаясь против идеализма, он еще говорит: «Ум без плоти, без физиономии, ум не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт; ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность» {«Собрание сочинений В. Г. Белинского», т. III изд. СПБ. 1913, стр. 763—764.}. Современный материалист, конечно, изменил бы терминологию, но самую мысль Белинского принял бы целиком.

Большой интерес для выяснения самостоятельности философского развития Белинского и в то же время для оценки его атеизма представляет письмо к Боткину, написанное 17 февраля 1847 года. В этом письме он делится с другом мыслями, вызванными в нем статьей одного французского автора о позитивной философии Ог. Конта.

Конт, — говорит Белинский, — замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергическая, беспокойная, тревожная. Но видеть в нем творца такой философской системы, которая окончательно устранила бы из философии и науки все следы религиозной метафизики, не приходится. Несмотря на свой большой ум и богатые познания, Конт все еще обеими ногами стоит на почве метафизики.

Конт заменяет термин «идея» термином «закон природы». Смешная претензия думать, что старая вещь изменится, если ей дать новое название. «Абсолютная идея, абсолютный закон, — говорит Белинский, — это одно и то же, ибо оба (термина) выражают нечто общее, универсальное, неизменяемое, исключающее случайность».

Самое поразительное доказательство тому, что философия Конта не есть новое учение, а простая реакция на богословские измышления, Белинский усматривает в утверждении, что природа несовершенна. «Пиетисты удивляются совершенству природы, для них в ней все премудро расчитано и размерено, они верят, что должна быть великая польза даже от гнусной и плодущей породы грызущих, т.-е. крыс и мышей, потому только, что природа сдуру не скупится производить их в чудовищном количестве. И вот Конт их нелепости, по чувству противоречия и необходимости реакции, противопоставляет новую нелепость, что природа-де несовершенна и могла бы быть совершеннее». Как же сам Белинский отвечает на этот вопрос? Более или менее так, как ответил бы на него последователь диалектического материализма. Что природа несовершенна — это справедливо, но что она могла бы быть совершеннее — что чепуха. «В несовершенстве то природы и заключается ее совершенство. Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно — подлейшая вещь в мире». Белинский хочет этим сказать, что природа не может рассматриваться как нечто застывшее, раз навсегда данное. Она — не абстракт, а живая связь явлений при которой совершенное в один момент и с одной какой-нибудь точки зрения представляется несовершенным в другой момент и с другой точки зрения. Свою мысль он иллюстрирует указанием на человека и аппеляцией к истории человечества.

«Человек смертен, — говорит он, — подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою. Это — его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его. Застрахуй его от смерти, болезни, случая, горя, и он — турецкий паша, скучающий в ленивом блаженстве; хуже — он превратится в скота. Конт не видит исторического процесса живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности».

«Конт, — говорит Белинский далее, — уничтожает метафизику не как науку трансцендентальных нелепостей, но как науку законов ума; для него последняя наука, наука наук — физиология. Это доказывает, что область философии так же вне его натуры, как и область истории, и что исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки. Что действия, т.-е. деятельность ума есть результат деятельности мозговых органов, в этом нет никакого сомнения. Но кто же подсмотрел акт этих органов при деятельности нашего ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь? Конт возложил свое упование на дальнейшие успехи френологии; но эти успехи подтвердят только тождество физической природы человека с его духовною природой — не больше. Духовную природу человека не должно отделять от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно отличать от нее как область анатомии отличают от области физиологии. Законы ума должны наблюдаться в действиях ума. Это — дело логики, науки, непосредственно следующей за физиологией, как физиология следует за анатомией. Метафизику к черту: это слово означает сверх-натуральное, следовательно, нелепость… (Логика) должна итти своей дорогой, но только не забывать ни на минуту, что предмет ее исследований — цветок, корень которого в земле, т.-е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического».

Говоря о тождестве физической и духовной природы человека, Белинский, как это совершенно ясно из контекста, имет в виду единство между мышлением и бытием, единство субъекта и объекта. «Духовное есть деятельность физического» — положение, с которым мы встречаемся и у многих материалистов XVIII-гo века, и у Фейербаха. Требование не отделять духовную природу человека, как нечто независимое, от его физической природы, но лишь отличать, в зависимости от той точки зрения, на которую исследователь становится при изучении, это — требование самой развитой формы материализма, блестящее обоснованное Энгельсом и вполне усвоенное наукой нашего времени, становящейся материалистической. И, наконец, во всей постановке этой основной философской проблемы, в методе, мы видим все то, что характеризуется, как диалектика.

Конечно, было бы наивностью — смешной претензией, как сказал бы сам Белинский, — утверждать, что Белинский пришел к диалектическому материализму. Но сказать, что линия его развития была направлена в сторону диалектического материализма, можно и должно. Как ни ограничен был размах его философских исканий, — вспомним его слабое знание немецкого языка, отсталость французской и скудость русской литературы, его загруженность литературной поденщиной и узость его литературной специальности, — но в меру данных ему возможностей он поднялся на высшую ступень. Во всяком случае, мы вправе предполагать, что, если бы он жил и развивался дольше, на Фейербахе он не остановился бы. Это предположение, кажется нам, можно подтвердить тем, что, отвергая позитивизм Конта он не противопоставляет ему философию Фебербаха, а говорит, что умственная революция близка, но еще не свершилась. Вот его слова: «Освободить науку от призраков трансцендентализма и теологии, показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического — вот что сделает основатель новой философии, но чего не сделает Конт». Мы знаем, что только диалектический материализм Маркса и Энгельса в полнейшей мере удовлетворяет этим требованиям.

Насколько последовательным для своего времени материалистом был Белинский показывает понимание им значения экономических причин в развитии современного общества. Выше мы упомянули, что незадолго до своей смерти он считал капиталистическую стадию развития неизбежной для России. Несколько ранее в письме к Боткину (декабрь 1847 г.) он писал: «Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же источник великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом». Правда, тут же у него имеются высказывания, обнаруживающие, что вопрос им не совсем продуман. Но все же мы можем утверждать, что в своем понимании процессов развития общества он оставил позади и Герцена, и Бакунина, и многих из тех, которые в позднейшие времена называли его в числе своих учителей.

Так же глубок и проницателен был Белинский, когда он прилагал свои материалистические взгляды к литературной критике. Часто ли, например, в русской критике встречалась оценка значения представителей нашей литературы с точки зрения классовой? До появления в России марксизма, можно сказать, такой критики у нас не было. Исключая, однако, Белинского, который даже в Пушкине видел выразителя ограниченных интересов помещичьего класса, «Везде, — говорил он, — вы видите в Пушкине человека, душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика… Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина».

Вследствие относительной ограничености нашей темы, мы не можем сколько-нибудь подробно остановиться на вопросе о том, чем мог бы стать Белинский, если бы не умер так рано. Такого рода диагноз «последнего кризиса» Белинского читатель найдет у Плеханова. Здесь же мы приведем несколько показаний Анненкова, о компетентности которого в данном вопросе не может быть спора. «Мысль его, — говорит Анненков о последнем полугодии жизни великого критика, — уже обращалась в кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися определениями прав и обязанностей человека, новой «правдой», провозглашаемой экономическими учениями, которая упраздняла все представления старой, отменяемой правды, о нравственном, добром и благородном на земле, и ставило на их место формулы и тезисы рассудочного характера». Оттенок неодобрения этим формулам и тезисам, выдвигавшимся тогда Марксом и Энгельсом, — они именно и имеются в виду, — объясняется тем, что сам Анненков писал свои воспоминания уже тогда, когда собственный его энтузиазм к новой правде совершенно остыл. И дальше он продолжает: «В уме Белинского созревали цели и планы для литературы, которые должны были изменить ее направление, оторвать от почвы, где она укоренилась, и вызвать врагов другой окраски и, конечно, другого, более решительного и опасного характера, чем все прежние враги, хотя и горячие, но уже обессиленные наполовину и безвредные… Теперь критик уже наклонен был требовать от литературы исключительного занятия предметами социального значения и содержания и смотреть на них, как на единственную ее цель».

Итак, в последние годы своей жизни Белинский пришел к материализму. Атеистом, как мы видели, он стал еще в тот период своих исканий, когда, разорвав ветхую оболочку правоверного гегельянства, он с помощью диалектического метода стал выпутываться из сетей «абсолютной идеи». Но теперь его атеизм гораздо глубже и — что особенно ценно — отличается воинственностью. Ярким свидетельством этой воинственности является знаменитое письмо к Гоголю, — несомненный гражданский подвиг, «Завещание Белинского», как назвал его Герцен.

В начале 1847 года вышли в свет «Выбранные места из переписки с друзьями». Ренегатство писателя, которого он любил, ценил и уважал, глубоко поразило Белинского, но еще больше в нем было возмущено чувство общественного деятеля, на глазах которого под фирмой популярного имени распространяются в публике идеи политической реакции и обскурантизма. «Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившимся был сам Гомер», — передает слова Белинского один из его друзей. И он пишет для «Современника» статью, хотя и отрицательную, но поневоле сдержанную. Он стремился в этой статье показать всю «гнусность подлеца» Гоголя и показал, — так по крайней мере, говорит он сам. Но цензора до неузнаваемости исказили ее, вычеркнув около трети ее содержания. Понятно, что загнанное внутрь чувство негодования и гнева, неудовлетворенная потребность выполнить свой общественный долг — разоблачить и заклеймить политического врага только ждали случая, чтобы вырваться с полной силой. Этот случай подал сам Гоголь. Раздосадованный статьей Белинского, он написал ему беззубо-колкое и насквозь ханжеское письмо. И Белинский взорвался.

Он выступает не от своего только имени. Вполне сознавая себя вождем передовой части русского народа, он говорит, что выражает мнение множества лиц, безымянной массы читающей и мыслящей публики, видящей в писателях «своих единственых вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности». Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в пиетизме, как вображал Гоголь, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. «Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольна она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства…, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью… Самые живые, современные, национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть».

В стране белых рабов, где люди торгуют людьми, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, вдруг во имя церкви и христа раздается позорный призыв к помещикам еще больше грабить и шельмовать крестьян, восхваляется национальный русский суд и расправа и т. д. «Проповедник кнута, — бичует Белинский, — апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?! Взгляните себе под ноги, — ведь вы стоите над бездною… Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма, но христа то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор».

Это противопоставление христианской церкви, якобы, христову учению и первоначальному христианству обнаруживает в Белинском человека мало интересовавшегося историей христианства. Отчасти, впрочем, в этом он следовал за Фейербахом. Но при всей трафаретности этого взгляда на христа, как на первого (!) провозвестника свободы и равенства, как на первого социалиста, мы все же подчеркнем то, что здесь историческая истина принесена в жертву революционой тенденции. Так поступали революционные мыслители и практические революционеры очень часто, и совсем недавно, у декабристов, мы отмечали однородную тенденциозность в апелляции к христу.

Насколько далеко от всякого, даже идеализированного христианства понимание Белинским «свободы, равенства и братства» видно из того, что, по его мнению, «смысл христова слова открыт философским движением прошлого века», т.-е. атеистической философией французских просветителей. «Какой-нибудь Вольтер, — говорит он, — орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын христа, плоть от плоти его, кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи». Вспомним, что раньше он называл любимейшим учеником христа и христианнейшим поэтом Баранже, имея в виду, конечно, его бесспорную заслугу в популяризации вольтерьянства в период клерикальной реакции во Франции.

Весьма интересными для характеристики просветительства Белинского нам представляются его тирады против православного духовенства и убеждение, что вследствие отсутствия у русского народа настоящей религиозности, дело просвещения у нас имеет блестящие перспективы.

«Неужели вы, — обращается он к Гоголю, — искренно, от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и у русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно!».

«По вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А руский человек произносит имя божие, почесывая себе… Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается с ними; живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не прививалась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся такою холодною аскетической созерцательностью, ничего не доказывает. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме, его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольничьих сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно».

Почти все эти и ряд других, не приведенных здесь, утверждений Белинского имеют ценность не сами по себе, а лишь для характеристики его просветительства. Как и всякий просветитель революционного типа, т.-е. человек, который по обстоятельствам места и времени бывает вынужден, вопреки своему темпераменту, проталкивать революционизирующие идеи в умы, вместо того, чтобы проводить их в жизнь и весьма мало считается с подлинными причинами и действительными следствиями. А между тем, если мы поглубже заглянем в мастерскую его ума, мы найдем, что в иные минуты действительная связь идей и вещей понимается им правильно. Так, мы видели, что от него не была скрыта зависимость содержания идеологии от принадлежности данного идеолога к определенному общественному классу. Здесь же он совершенно идеалистически связывает религиозность с цивилизацией. Он младенчески не понимает того, что просвещенные и образованные французы все еще католики и верят в «какого-то бога» не потому, что французы «по натуре» религиозный народ, а вследствие того, что французская буржуазная интеллигенция на данной ступени развития капиталистического строя вынуждена занимать охранительные позиции. Религиозность у нее теперь — оружие защиты и нападения против мятежных стремлений вышедшего из пеленок и опеки пролетариата, тогда как в период борьбы с пережитками феодализма эта религиозная «по натуре» интеллигенция поражала весь мир своим воинствующим неверием. Его вера в русский народ, в его особенный ум и в возможность для него каких-то необыкновенных путей развития совершенно противоречит не раз высказывавшимся им пессимистическим взглядам на тот же самый народ. Здесь он превозносит русский народ, — правда, в обратном направлении, — совсем как те славянофилы, против которых он всегда ожесточенно боролся и в своем презрении к которым он положительно не знал меры. И между прочим, он сам говорил (письмо к П. В. Анненкову, 15 февраля 1848 г.), что «мистическое верование в народ» помогли ему сбросить те же славянофилы, которые «высосали из социалистов (правильнее сказать — социалистов-утопистов) свои «народные» убеждения». Но стоит ли углубляться в ошибки Белинского и объяснять их? Нашему читателю они должны так же бросаться в глаза, как бросались в глаза, по словам Белинского, гимназисту его времени нелепости гоголевской «Переписки с друзьями».

Письмо к Гоголю является одним из самых замечательных документов в истории русской революционной мысли. По силе и яркости обличения и по своей антирелигиозности оно несравненно выше даже позднейших выступлений до-марксистского периода нашей общественной мысли. Но в то же время в нем выпукло отразилась слабая сторона Белинского, а именно, преобладание у него — при всем его философском материализме — идеалистического взгляда на вопросы истории и общественной жизни. Но это нисколько не значит, что Белинский хоть в этом отношении был человеком отсталым. Диалектический материализм в то время еще только создавался Марксом и Энгельсом, а в российских условиях его усвоение было чрезвычайно затруднено. Просветительская же точка зрения в вопросах общественной жизни была тогда вполне правомерна и имела положительное значение.

«Литературный бунтовщик» Белинский умер от чахотки (26 мая 1848 года), так и не испытав ни разу в своей жизни, чем грозит российская действительность всякому бунту. Цензурные репрессии в данном случае в счет не идут. Просто ему повезло в этом отношении. Но он всегда находился «под негласным надзором», как и все вообще передовые писатели. Впрочем, в Петербурге не раз поговаривали о возможности ареста Белинского. По рассказу Герцена, комендант Петропавловской крепости, встречая на Невском проспекте знаменитого писателя, с улыбочкой кошки, подкарауливающей мышь, говаривал ему: «Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат; так для вас и берегу». Этот тепленький каземат охотно распахнул бы свою узкую дверь, если бы до III Отделения своевременно дошло письмо к Гоголю. Впрочем, может быть, оно и дошло до жандармов еще при жизни его автора, но небыло учтено сразу, как мятежный акт. Из всех разновидностей русских людей русские жандармы особенно были крепки задним умом. Только когда «открылось» дело петрашевцев, жандармы увидели, что письмо это «полно дерзких выражений против православной церкви и верховной власти», и управляющий III-им Отделением Дубельт «яростно сожалел», что Белинский не дождался этого момента. «Мы бы его сгноили в крепости», — говорил он.

Последние дни писателя были омрачены, тем не менее, слишком пристальным вниманием к нему политической полиции. Дело в том, что шефу жандармов А. Ф. Орлову было доставлено письмо-прокламация, подписанная «Истый русский» и содержавшая исключительные по дерзости обличения русских порядков. Подозрение жандармов обратилось на Некрасова, которого доносчик Булгарин рекомендовал III-му Отделению «самым отчаянным коммунистом», и на Белинского, которого, несомненно, рекомендовали с этой стороны его журнальные статьи. Чтобы проверить подозрение, Белинского вызвали в III-е Отделение. Больной писатель, сославшись на болезнь, не явился. Через некоторое время последовало новое приглашение, в котором, между прочим, говорилось, что Дубельт желает лично узнать Белинского, как литератора, пользующегося известностью и как человека, о котором «часто говорят» {Подробно эта история рассказана в заметке П. Щеголева «Эпизод из жизни В. Г. Белинского», «Былое» 1906 г., № 10. — Эпизод появления жандарма у постели умирающего увековечен на известной картине Наумова «Белинский перед смертью».}. Понятно, что такая настойчивость не могла не отозваться самым печальным образом на больном.

Настоящее гонение против Белинского поднялось только после его смерти. Уже при погребении к немногим друзьям, провожавшим его гроб, присоединились «три или четыре неизвестных, вдруг откуда то взявшихся». В них без труда все узнали переодетых жандармов. Когда друзья захотели разыграть в лотерею, в пользу оставшегося без средств семейства покойного, его библиотеку, это было запрещено, причем отказ «в самом раздраженном тоне» был мотивирован тем, что «имя Белинского равнозначительного имени государственного преступника». В течение почти десяти последовавших лет к имени Белинского и применялся тот режим, которому на Руси подвергались имена государственных преступников: его запрещено было называть в печати. Блюстители этой загробной ссылки — цензоры, впрочем, не догадывались, что неизвестный «критик 40-х годов», о котором часто с горячими похвалами упоминали передовые журналы, был никто иной, как запрещенный Белинский.